

Владимир Гандельсман

В спокойном и беспрекословном свете

* * *

Рождённый по тому прообразу,
невидимо-неколебимому,
в обозе Господа, по абрису,
ещё до Господа любимому
молчащим изначальным словом,
рождённый в человечесий гомон,
я стал для крови жизни — кровом
и буквой замысла. Но в чём он?

Зачем моё дыханье считано
не с таборного и проворного —
с того, которым и молчит оно,
воистину — с нерукотворного?
Дыши, дыханье, не бессильных
удел, ты есть — о чём и речь вся —
затем, чтоб выветриться в синих
палатах неба и пресечься.

* * *

Он, читая, увидит: звезда,
и его удивит: жизнь её — на примете,
и уснёт, как умрёт, навсегда,
и проснётся, — едва на рассвете
заискрится роса,
он, послушник, невидимой цепью
приковав себя к тихому, как небеса,
неотступному великолепию
переливной реки, своё слово творит
и за Ним повторяет,
что сначала увидит, потом удивит,
но ни буквы не потеряет.

Гандельсман Владимир Аркадьевич — поэт, прозаик, эссеист, переводчик англо-американской поэзии. Родился в 1948 году в Ленинграде. Окончил электротехнический институт. Автор 15 сборников стихов и записных книжек «Чередования» (СПб., 2000). Лауреат «Русской премии» (2008), премии «Московский счёт» (2011) и других. Живет в Нью-Йорке.

* * *

Не прячься, говорю, не прячься,
не закрывай глаза,
с открытыми глазами плачься
в синеющие небеса.
Там трепетная жизнь не тонет
и тонки голоски
тех, кто усопших не хоронит
по-воровски,
лишь богу птичьему благие
благодарение поют
в своей небесной литургии,
как будто гнёзда мёртвым вьют.

* * *

Дрогнувшая ли свечой в затоне
звезда, задета веслом,
ночь ли, греющая свои ладони
моим теплом,
дерево ли, во мне негодую
на ветер, кочующий по углам
сознания, — едва уйду я
по неотложным делам, —
смолкнут... Другой им ссудит
жизнь — что с того?
Для меня их созвучие будет
мертвым мертво.
К этим хлеба краюхам
время прикасаться другим, свечу
зажигая и слыша всем слухом,
как я глухо молчу.

* * *

Получил, говорит, в столовой суп,
холодный борщ,
сел, ссутулясь, хлюп, хлюп
(мать — ребёнку: ты не топорщ
глаза), сижу, говорит, нищ,
и небрит, и тощ,
и в окне ещё луч из-за тёмных нищ,
звучащий точь-в-точь
как слово. Слово. Но то не я,
показалось, сижу, я не мог,
чтоб слеза в тарелку. Нет, не моя.
Это мною, думаю, плачет бог.
Это он от жалости и любя.
Луч в окне горит.
В избавлении нацело от себя
чистота безупречная есть, говорит.

Памятник

пел старьё берём старьёвщик
доносилось со двора эхо
почтальон втискивал в ящик
газету вздыхал эх-хо
шила стрекоча портниха
прачка бельё брала в стирку
становилось к вечеру так тихо
точно писано под копирку
человек отчаивался чего ради
вспыхивал в мозгу сварщик
за окном с тетрадью
переписчик возился сверщик
над колыбелью свои сети
раскидывал путь млечный
я не жил столько тысячелетий
и потом не буду жить вечно

Из аллеи

Виднелось вдалеке пустое поле,
на солнце детские ладоньки
листвы, как если бы в них что-то пело,
прозрачно зеленели и легонько
дрожали. Затевались эти строки
в спокойном и беспрекословном свете.
Ни грома, ни грозы, ни рифма «сроки»
ещё не шла стиху, ни рифма «сети».
Но если ты не слышал гула,
и тишина стояла, не затишье,
зачем, скажи, тебя к жилью тянуло
и краткому дымку над крышей,
туда, где длится вечное застолье
и — умное ли слово, вздор ли —
где вволю злы и рады поневоле,
и счастье смертное застряло в горле?